Асмодей Денница

Теплое место



Асмодей Денница

ТЕПЛОЕ МЕСТО

«Автор»
2026

Денница А.

ТЕПЛОЕ МЕСТО / А. Денница — «Автор», 2026

Котельная на улице Мира топится с октября по апрель. За котлом, в нише, куда не достаёт свет из подвального окна, третьего марта рождаются котята — слепые, глухие, знающие только одно: тепло и запах. Один не подаёт голоса. Трое остаются.Эта книга — четырнадцать лет жизни одной из них. Серой полосатой кошки, которая родилась в подвале, проживёт в нём всю жизнь и успеет узнать всё, что отпущено знать: молоко и голод, первую мышь и первый мороз, чужого кота у гаражей, руки, которые не делают больно, и людей, которые уходят. У неё нет имени — до тех пор, пока человек не назовёт её.Вокруг неё — двор. Кочегар Толик, уверенный, что порядок держится на давлении в трубе, сухих дровах и на том, чтобы каждый занимался своим делом. Зоя Ивановна, которой не хватает не слов мужа, а его молчания. Девятилетний Петя, которому не разрешили взять котёнка, — и который всё равно приходит. Они не спасают кошку. Они просто живут рядом, и от этого меняются оба.

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
1. Свет 9
2. Звук 12
3. Вибриссы 15
4. Зубы 18
5. Игра 21
6. Двор 24
7. Отъём 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Асмодей Денница
ТЕПЛОЕ МЕСТО

Повесть
Автор: Асмодей Денница

Пролог

В городке, где зима начинается раньше календаря, у каждого двора есть своё тёплое место, и для двора на улице Мира таким местом была котельная — низкая кирпичная постройка в глубине, за гаражами, за поленницей и за забором, за которым лаяла собака. Топилась она с октября по апрель, и зимой её труба оставалась единственной вещью в округе, к которой можно было прислониться и не пожалеть: дети прикладывали к ней варежки, старики — спину, кошки — бок. В апреле труба остывала, в мае котельная пахла сыростью и известью, в июне — мокрым песком, и только в подвале, в самой глубине, где за котлом оставалась ниша, тепло держалось дольше всего.

Там, в этой нише, появлялись на свет котята — и в те годы, когда улица Мира ещё называлась иначе, и в те, когда её уже называли так.

В конце февраля туда пришла старая кошка. Она была серая, полосатая, с порванным ухом и с той особенной худобой, которая бывает не от голода, а от времени; двенадцать лет она жила в этом дворе и знала его наизусть — где сухо после дождя, где капает с трубы, где можно пройти под домом и выйти у булочной, где ставят миску, а где остаются только пустые консервные банки. Знала она и другое: что в феврале надо уходить глубже.

В нише за котлом было тепло и пахло пылью, которую нагревают; она потопталась, повернулась три раза и легла.

Третьего марта, ночью, она родила.

Это было долго: она лежала на боку и дышала часто, живот у неё ходил волнами, и она не мяукала, а только выдыхала с силой, будто тащила что-то тяжёлое вверх по лестнице.

Первый котёнок вышел головой вперёд — мокрый, тёмный, размером с мышь, только тяжелее; она разорвала оболочку зубами и стала лизать его языком против шерсти, коротко и быстро, и он запищал. Писк был тонкий, почти неслышный — такой писк не слышат люди за стеной, но его слышат те, кому он предназначен.

Второй вышел через десять минут, третий — ещё через четверть часа, а четвёртый родился мёртвым.

Она обнюхала его, полизала — два раза, коротко, — и отвернулась: в её мире не было слов, которыми можно было бы это объяснить, и не было слов, которыми можно было бы это пережить, — было только тепло и его отсутствие; мёртвый был холодным, и она ушла от него к тем, кто был тёплым.

Живых осталось трое: два полосатых и один рыжий. Рыжий был крупнее всех и пищал громче всех — так бывает, тот, кто громче просит, получает больше.

Потом она съела послед — это заняло время, — потом легла вокруг котят, свернулась так, чтобы они оказались у живота, и закрыла глаза.

Котята были слепые: глаза у них были закрыты, уши прижаты к голове, и они не слышали ничего — ни гула труб, ни ветра в вентиляции, ни шагов наверху. Они знали одно — тепло и запах; запах был молочный, жирный, тёплый, он шёл от матери, от её шерсти, от её живота, и к нему они ползли, перебирая лапами и тыкаясь мордами в шерсть. Нос у них был холодный и мокрый, и они искали сосок и находили его по запаху — так же, как потом, много лет спустя, будут находить дорогу домой.

Мать лежала неподвижно: она устала так, как не уставала давно. Ей было двенадцать лет, у неё не хватало двух зубов, шерсть на спине уже не была густой, а на левом ухе темнела дырка от старой драки; она была старой кошкой и знала то, что знают все старые кошки: тепло надо искать заранее.

Она слышала, как наверху открылась дверь котельной.

Шаги — тяжёлые, мужские, в валенках: Толик, который топил котёл, приходил в шесть утра и в четыре дня, зимой и летом, в праздники и в будни. Про него во дворе говорили, что он не любит ни людей, ни кошек, и это была правда только наполовину — кошек он не любил, но миску у ворот гаража ставил каждый день.

Он спустился по лестнице, стуча ключами, постоял, посмотрел в угол.

— Опять, — сказал он.

Она не пошевелилась: она знала этот голос двенадцать лет.

Толик подошёл ближе и посветил фонариком; котята завозились, и рыжий пополз в сторону света.

— Три, — сказал Толик. Он посмотрел на мёртвого, помолчал, потом наклонился и взял его двумя пальцами.

— Ну и ладно, — сказал он неизвестно кому и понёс наверх.

Дверь хлопнула.

Мать не встала: она лежала и дышала, и от её живота шёл пар — в подвале было холодно, а у котят было тепло. Так устроен мир: тепло всегда от кого-то.

К вечеру она проголодалась. Уйти надолго она не могла: котята не умели держать тепло — в первые недели они не умели даже этого, — и если бы её не было слишком долго, они бы остыли; она знала это раньше, чем узнала что-нибудь ещё.

Она вышла через лаз под трубой, прошла по тёмному коридору, поднялась по ступенькам и оказалась во дворе. Было темно, снег лежал серыми кучами, на асфальте был лёд, и в подъезде первого корпуса горел свет.

У мусорных баков стояла Зоя Ивановна и вытряхивала пакет; ей было семьдесят четыре года, она жила одна, и единственное, что в её жизни случалось каждый день, — это кошки у баков.

— Серая, — сказала она. — Ты где была?

Кошка села в трёх шагах и подождала. Зоя Ивановна достала из сумки кусок курицы и положила на кирпич.

— Ешь. Худая совсем.

Кошка съела, потом постояла, посмотрела на женщину и пошла обратно — через лаз, по коридору, в подвал, к котлу.

Котята спали; она легла вокруг них и стала лизать по одному — сначала рыжего, потом полосатого, потом того, что был меньше всех. Меньше всех была серая кошечка: она родилась третьей, дышала слабо и почти не пищала. Мать лизала её дольше остальных.

Ночью в подвал пришла крыса. Крысы жили здесь же, за коробками из-под обуви, и кошек они не боялись — они боялись только голода; крыса была большая, серая, с жёсткой шерстью, и она вышла из-за коробок медленно, как выходят хозяева.

Мать подняла голову и зашипела. Крыса не ушла сразу — она посмотрела в сторону ниши, будто считала. Мать встала, шерсть у неё встала дыбом, уши прижались, и она зашипела ещё раз, громче.

Крыса ушла.

Мать постояла ещё немного и легла обратно; сердце у неё билось часто и сильно, и она лежала и слушала, как крыса уходит за коробки, как шуршит бумага, как где-то далеко, наверху, поёт в подъезде чужой телевизор.

Так прошла первая ночь.

В следующие дни было одно и то же: тепло, молоко, сон, шаги наверху, гул труб; Толик приходил два раза в день, подкладывал уголь, стучал дверцей котла, иногда смотрел в нишу и говорил что-то короткое, и мать не поднимала головы.

На третий день пришла Зоя Ивановна. Она принесла в подвал блюдце с молоком, поставила его недалеко от ниши и сказала:

— Ладно.

И ушла, осторожно ступая по мокрому полу.

Молоко было тёплое; мать пила его быстро и всё время поворачивала голову к котятам. Котята не умели ходить, но умели ползать: они ползали по нише, тыкались друг в друга, искали сосок и находили его даже во сне, не просыпаясь.

Мать почти не спала. Она лежала с открытыми глазами и слушала, как по трубам идёт вода, как скрипит коробка в углу, как наверху хлопает дверь, как по двору идёт человек, — и по шагам знала, кто именно.

К середине марта она стала уходить чаще: голод гнал её наверх, к бакам, к кирпичу с едой, к людям. Возвращалась она быстро, каждый раз спускалась в подвал и сразу шла в нишу — проверять, и каждый раз котята были там, тёплые, слепые, и пахли молоком.

Однажды, когда её не было, в подвал спустился мальчик. Он спускался тихо, по одной ступеньке, и в руке у него был телефон, который светил; ему было девять лет, его звали Петя, и он был единственным человеком в этом дворе, который спускался в подвал не по делу.

— Котята, — сказал он.

Мать вернулась в этот момент — она стояла уже в коридоре и слышала всё. Она прошла мимо мальчика, встала между ним и нишей и прижала уши.

— Я не буду, — сказал мальчик. — Я посмотрю.

Он присел на корточки в трёх шагах; свет от телефона лёг на пол круглым пятном, и в этом пятне котята увидели свои лапы — серые, с тёмными полосками. Они ещё не умели видеть, но светлое от тёмного отличали.

— Двое? — сказал мальчик, вглядываясь. — Три. Один рыжий.

Мать не двигалась. Мальчик посидел, потом положил на пол что-то маленькое и ушёл, и дверь наверху закрылась.

То, что он положил, пахло рыбой. Мать подождала, пока стихнут шаги, потом подошла и съела.

На следующий день мальчик пришёл снова: он снова сел на корточки и молчал, и он не протягивал рук. Мать перестала вставать, когда он приходил: она лежала и смотрела, как он сидит.

К концу второй недели котята выросли вдвое; шерсть у них была короткая, мягкая, и на ней уже проступали полоски. Сестра, та, что родилась третьей, отставала: она была меньше братьев, ела медленнее и часто бросала сосок, чтобы передохнуть, и мать подталкивала её носом обратно.

Шли дни. Снег за окном подвала таял медленно, потом пошёл быстрее, и в вентиляцию стал попадать другой воздух — тёплый, с запахом земли и мокрого асфальта; котята уже ползали по всей нише и начали тянуться вверх, к краю. Они ещё не открыли глаза, но уже знали, что мир больше ниши: они слышали его и чувствовали, как оттуда, из коридора, тянет холодом.

Всё живое узнаёт тепло раньше, чем узнаёт, что оно не вечное.

1. Свет

«Свет приходит прежде понимания. Но и пятен достаточно, чтобы жить.»

Котельная просыпалась раньше двора: в шесть утра Толик отпирал висячий замок, который помнил ещё те времена, когда замки делали из настоящего железа, спускался в подвал, и подвал отзывался на его шаги так, как отзывается старый организм на знакомого врача, — гулом, вздохом, стуком дверцы.

Толику было пятьдесят девять лет, он двадцать лет топил эту котельную и считал, что порядок в мире держится на трёх вещах: на давлении в трубе, на сухих дровах и на том, чтобы каждый занимался своим делом. Кошки, по его мнению, своим делом не занимались, — он говорил это всякий раз, когда видел кошку, и всякий раз ставил у ворот гаража жестяную миску. Миска была вмятая с одного бока, и Толик этого не исправлял, потому что вмятина придавала ей, как он выражался, характер.

В подвале пахло углём, ржавчиной и мышами; мыши жили за коробками из-под обуви, и Толик знал про них всё, но не трогал — мыши не мешали давлению.

Там, в этой нише, третьего марта, ночью, старая серая кошка родила четверых; трое оказались живыми. Она лежала на боку и дышала часто, живот у неё ходил волнами, и она не мяукала, а только выдыхала с силой, будто тащила что-то тяжёлое вверх по лестнице.

Первый котёнок вышел головой вперёд — мокрый, тёмный, размером с мышь, только тяжелее; она разорвала оболочку зубами и стала лизать его языком против шерсти, коротко и быстро, и он запищал. Писк был тонкий, почти неслышный — такой писк не слышат люди за стеной, но его слышат те, кому он предназначен.

Второй вышел через десять минут, третий — ещё через четверть часа, а четвёртый родился мёртвым.

Она обнюхала его, полизала — два раза, коротко, — и отвернулась: в её мире не было слов, которыми можно было бы это объяснить, и не было слов, которыми можно было бы это пережить; было только тепло и его отсутствие, а мёртвый был холодным, и она ушла от него к тем, кто был тёплым.

Живых осталось трое: два полосатых и один рыжий. Рыжий был крупнее всех и пищал громче всех — так бывает, тот, кто громче просит, получает больше.

Потом она съела послед — это заняло время, — потом легла вокруг котят, свернулась так, чтобы они оказались у живота, и закрыла глаза.

Котята были слепые: глаза у них были закрыты, уши прижаты к голове, и они не слышали ничего — ни гула труб, ни ветра в вентиляции, ни шагов наверху; они знали одно — тепло и запах. Запах был молочный, жирный, тёплый, к нему они ползли, перебирая лапами и тыкаясь мордами в шерсть; нос у них был холодный и мокрый, и они искали сосок и находили его по запаху.

Мать лежала неподвижно. Ей было двенадцать лет, у неё не хватало двух зубов, шерсть на спине уже не была густой, а на левом ухе темнела дырка от старой драки; в этом дворе она знала всё — где сухо после дождя, где капает с трубы, под каким домом можно пройти и выйти у булочной, у какого подъезда ставят миску. Знала она и то, что в феврале надо уходить глубже.

Она слышала, как наверху открылась дверь котельной.

Шаги — тяжёлые, мужские, в валенках: Толик спускался по лестнице, стуча ключами, постоял, посмотрел в угол.

— Опять, — сказал он.

Она не пошевелилась: она знала этот голос двенадцать лет.

Толик подошёл ближе и посветил фонариком; котята завозились, и рыжий пополз в сторону света.

— Три, — сказал Толик. Он посмотрел на мёртвого, помолчал, потом наклонился и взял его двумя пальцами.

— Ну и ладно, — сказал он неизвестно кому и понёс наверх.

Дверь хлопнула.

Мать не встала: она лежала и дышала, и от её живота шёл пар — в подвале было холодно, а у котят было тепло. Так устроен мир: тепло всегда от кого-то.

Прошла неделя.

Двор в марте был серый и мокрый: снег лежал кучами вдоль забора, а на асфальте уже стояли лужи, и в лужах плавали окурки, и вода в них была такая холодная, что от неё ломило зубы.

Зоя Ивановна выходила из первого подъезда в семь утра, несла сумку на колёсиках и останавливалась у баков; ей было семьдесят четыре года, и единственное, что случалось в её жизни каждый день, — это кошки у баков.

— Серая, — говорила она. — Ты где была?

Кошка садилась в трёх шагах и ждала; Зоя Ивановна доставала из сумки курицу и клала на кирпич.

— Ешь. Худая совсем.

Дома у неё на стене висела фотография мужа, умершего одиннадцать лет назад, и Зоя Ивановна иногда с ним разговаривала — не потому, что верила, что он слышит, а потому, что привыкла.

На десятый день у полосатого котёнка на правом глазу появилась щель. Она была тонкая, как трещина в старой краске, и сначала не открывалась — только вздрагивала, когда он моргал; к полудню открылась наполовину, к вечеру открылся и левый.

Мир, который он увидел, был плоский и мутный: в нём не было ни стен, ни пола, ни ниши — только пятна. Светлое пятно сверху, тёмное сбоку, оранжевое вдалеке, там, где в дверце котла горел огонь. Он смотрел на оранжевое и не знал, что это огонь; он знал только, что оттуда идёт тепло, и это было важнее любого названия.

Сестра открыла глаза на день позже: она долго жмурилась, потом посмотрела прямо перед собой и заплакала — тонко, как плачут все котята, у которых что-то не так. Мать подошла и легла рядом, так, чтобы сестра оказалась у её живота, — и сестра замолчала.

С этого дня они видели. Плохо, но видели: мать была большим серым пятном, брат — маленьким, огонь в котле — оранжевым, а дверь в подвал — прямоугольником серого света. Всё остальное оставалось запахом.

Запах был точнее: по запаху мать отличалась от всего на свете, по запаху находилось молоко, по запаху в нишу приходил чужой воздух — из коридора, из-под двери, с улицы; воздух с улицы пах снегом и дымом.

Зрение мешало. Иногда свет становился слишком ярким, и тогда глаза болели и закрывались сами, и мать в такие минуты поворачивалась так, чтобы её тень легла на них.

Мать носила их за загривок, когда перекладывала с места на место, — это случалось редко, только когда в подвал приходили люди и шумели. В первый раз это было, когда Толик чинил насос: он пришёл днём, с инструментом, и в подвале стало громко — железо билось о железо, шипела вода, ругался человек.

Мать взяла рыжего зубами за шею и перенесла за коробки, потом вернулась за полосатым — он висел у неё в зубах, беспомощный, и видел сверху её уши и кусок пола, — потом за сестрой. В новом месте было темнее и пахло иначе: пылью, старым валенком, мышами; здесь они просидели до вечера, пока наверху не стало тихо. Вечером мать перенесла их обратно — всех троих, по одному, — и после третьего легла и долго не поднимала головы.

К третьей неделе котята уже различали мать на расстоянии: она приходила из коридора, и они видели, как в темноте двигается серое пятно, и ползли к нему. Она ложилась, и они ели.

Ели они много: молоко было единственной едой, и они сосали часто, по многу раз в день, и после еды животы у них становились тугими и круглыми, как маленькие камни. Мать худела — она ела то, что оставлял Толик: кашу, хлеб, иногда рыбу, — и всё время поворачивала голову к нише, будто проверяла, на месте ли они.

Мальчик пришёл в конце марта. Его звали Петя, ему было девять лет, и он жил в третьем подъезде с матерью; отец уехал, когда Пете было пять, и присылал открытки на Новый год. Петя спускался в подвал тихо, по одной ступеньке, и в руке у него был телефон, который светил.

— Котята, — сказал он.

Мать встала между ним и нишей.

— Я не буду, — сказал мальчик. — Я посмотрю.

Он присел на корточки в трёх шагах; свет от телефона лёг на пол круглым пятном, и в этом пятне котята увидели свои лапы — серые, с тёмными полосками.

— Двое? — сказал он, вглядываясь. — Три. Один рыжий.

Мать не двигалась; мальчик посидел ещё, потом положил на пол что-то маленькое и ушёл. То, что он положил, пахло рыбой; мать подождала, пока за ним закроется дверь, потом подошла и съела.

С этого дня мальчик приходил часто: он садился на корточки и молчал, и запах у него был как у двора — асфальт, сырость, немного шоколада. Он не протягивал рук, и мать перестала вставать, когда он приходил: она лежала и смотрела, как он сидит. Котята смотрели тоже — на маленького человека, который приходил и ничего не делал; они ещё не знали, что люди приходят обычно за чем-нибудь.

Через неделю глаза у котят стали серо-голубыми; к третьему месяцу они должны были поменять цвет, но пока были такие, и в темноте от них отражался свет телефона — два зелёных огонька. Матери, кажется, это не нравилось: когда мальчик светил, она поворачивала голову и закрывала котят собой.

Ходить они ещё не умели — они ползали: передние лапы тянули, задние отставали, и получалось, что они двигаются боком, как крабы. Потом задние догнали передние, и они пошли. Первые шаги были короткие; пол был холодный, но не везде — у котла он был тёплый, а в середине ниши совсем тёплый, потому что там они лежали.

Они учились, где тепло. Тепло было главным: всё, что было теплее, было лучше, всё, что холоднее, — опаснее, и они поняли это раньше, чем увидели.

К концу третьей недели брат встал на все четыре лапы, потянулся и упал на бок; он полежал, потом встал снова и пошёл в сторону света. Мать перехватила его на полпути — взяла за шею — и отнесла обратно. Он пищал, она не отпускала, он встал, отряхнулся и посмотрел на неё с обидой.

Мать легла и закрыла глаза.

Свет она не отменила и не запретила — она просто не пустила его далеко.

Свет показывал, где что находится; тепло показывало, где можно жить.

2. Звук

«Слух старше зрения: он сторожит сон.»

Уши у котят открылись раньше глаз, но услышали они не сразу: в первые дни внутри головы ещё ничего не было готово, и мир оставался для них одной длинной тишиной, в которой что-то шевелилось, — гул котла, шаги наверху, скрип двери.

Потом готово стало.

В один день мир стал шумным: гудела труба, капала вода, скрипело железо; где-то далеко, за двумя стенами, пела женщина, и голос у неё был высокий и ровный, как ещё одна труба; за забором лаяла собака — коротко, три раза, потом замолкала надолго.

Котята прижимали уши и вздрагивали. Мать не вздрагивала: она слышала всё это двенадцать лет, и ни один из этих звуков ничего не значил.

Значили другие.

У подвала был свой голос, и он не замолкал никогда. Котёл гудел ровно, на одной низкой ноте, и в этом гуле было три слоя: сам огонь, вода в трубе и железо, которое от тепла становилось другим. Иногда котёл щёлкал — коротко, будто внутри у него что-то перекатывалось; иногда шипел, и тогда в подвал приходили запах пара и мокрый металл. Насос включался редко и работал тяжело, с подвыванием. Вода в трубах шла тонко, на высоком звуке, которого люди не слышат. Мыши шуршали за коробками — всегда, в любое время суток, — и шуршание это было ровным и неважным, как дыхание. Ветер в вентиляции свистел низко, с перебоями.

Мать не реагировала ни на что из этого, и котята сначала не понимали почему, а потом поняли сами: это был фон. Мир состоял из звуков, но не каждый звук был обращён к тебе.

Обращённые звуки были другие: они приходили не со всех сторон, а с одной, и в них была цель.

Она издавала короткий звук — не мяуканье, а что-то между мурлыканьем и вопросом, короткое, из горла, будто она прочистила горло. Он означал: сюда. К третьей неделе они знали его и слышали сквозь гул котла, и ползли на него, даже если не видели её: он означал еду и тепло.

Другой звук был длиннее и ниже, и от него хотелось прижаться к полу; мать издавала его, когда в подвал спускался чужой, — шипение, сухое, с придыханием. Оно означало: не двигайся. Котята не двигались.

А мяуканье мать берегла: она мяукала только людям — коротко и требовательно, когда стояла у миски, или длинно, когда её не пускали в дверь. Котята слышали, как она мяукает наверху, и не понимали кому; между собой она так не говорила.

В подвале звуки делились на две части: те, что ничего не значили, и те, что значили.

Ничего не значили трубы, хотя они гудели ровно, иногда щёлкали и иногда начинали гудеть громче, если в доме открывали воду. Ничего не значили мыши, которые шуршали за коробками, потому что шуршали всегда. Ничего не значили шаги наверху, если они шли мимо.

Значили шаги, которые останавливались.

Такие шаги мать слышала первой: она поднимала голову и смотрела на потолок — туда, где ходили, — потом смотрела на дверь.

Толик шёл тяжело, стучал ключами, останавливался у котла и гремел дверцей; от его шагов мать не пряталась, только отодвигалась. Мальчик шёл легко и останавливался на середине лестницы, чтобы не шуметь; от его шагов мать тоже не пряталась. Женщина шла медленно, с сумкой, которая шуршала, и мать выходила ей навстречу — не потому, что узнала её по звуку, а потому, что знала, в какое время она приходит.

Над подвалом жил дом, и дом тоже был слышен. Двери хлопали с разным весом: тяжёлая, входная, — низко, с отдачей в стены; лёгкие, квартирные, — звонко и коротко; по этим

хлопкам мать знала, кто пришёл, даже когда не могла видеть. Телевизор начинал говорить в семь и замолкал после полуночи. Женщина на третьем этаже пела вместе с радио — тихо, не попадая в слова. Кто-то наверху кашлял по утрам, долго и надсадно. По лестнице ходили, и ступени скрипели по-разному: по скрипу можно было понять, где человек и куда он идёт.

Котята слушали всё это, и постепенно в шуме появился порядок: далёкий хлопок — ничего, скрип далеко наверху — ничего, вода в стене — ничего. А хлопок, после которого наступала тишина, а потом начинали скрипеть ступени, ведущие вниз, — это было уже не ничего.

К третьей неделе котята знали эти шаги тоже: они ещё не умели бояться правильно, но когда наверху стучали ключами, уже поворачивали головы.

Однажды ночью в подвале что-то упало — это была крыса: она задела жестянку, и жестянка покатилась по полу, гремя и догоняя себя краем. Мать вскочила, котята проснулись и прижались друг к другу. Стало тихо, потом в темноте что-то зашуршало — медленно, близко. Мать зашипела; шуршание остановилось, потом пошло в обратную сторону и стихло.

Котята лежали и слушали ещё долго. Слушать было ново. В слухе было больше мира, чем в глазах: глаза показывали пятна, а слух показывал, что происходит. Глаза говорили: здесь что-то есть. Слух говорил: здесь что-то будет.

Утром мать ушла и вернулась; котята услышали её раньше, чем увидели, — она шла по коридору, и когти щёлкали по полу тихо, через раз, будто она ступала на цыпочках. Они поползли на этот звук.

Она легла, и они ели и слушали, как она дышит: дыхание было ровное и тёплое, от него живот у неё поднимался и опускался, и они поднимались и опускались вместе с ним.

Потом она замурлыкала. Мурлыканье было не такое, как шипение: оно шло из глубины, ровное и низкое, и от него в груди становилось тепло — не снаружи, а внутри, будто тепло капало откуда-то из-под рёбер. Котята прижались к этому звуку и заснули.

С этого дня мурлыканье стало для них тем же, чем тепло: знаком, что всё в порядке. Мать мурлыкала, когда они ели, когда засыпали и когда лизала их — по одному, в одном и том же порядке: сначала рыжего, потом полосатого, потом серую. Порядок не менялся никогда.

К концу третьей недели полосатый котёнок уже слышал то, чего не слышали люди: как в трубе за стеной идёт вода — тонко, на одной ноте. Мать слышала то же, и они поворачивали головы одновременно.

Мальчик наверху этого не слышал. Он сидел на корточках и говорил:

— Тихо у вас тут.

Он приходил и говорил с ними, как с людьми, и ждал ответа; ответа не было, и он не обижался — сидел, смотрел на них и иногда что-то рассказывал: про школу, про то, что завтра будет контрольная, про то, что отец опять не пришёл.

Котята не понимали слов, но слышали голос: ровный, негромкий, спокойный. Голос ничего не требовал. Мать смотрела на него и мурлыкала — но не так, как котятам: тихо, почти беззвучно, — потом вставала и шла к нему. Он гладил её по спине, и она стояла.

Котята смотрели и запоминали: этот человек — можно. Они запоминали не словами, слова им были не нужны; они запоминали телом — если мать не уходит и не шипит, значит, рядом можно находиться.

Мальчик говорил много: про школу, где была контрольная и все списали, а он не успел; про то, что отец опять не пришёл в субботу; про то, что мама говорит «ну и ладно».

— Ну и ладно, — повторил он и посмотрел на мать.

Мать смотрела на него и не двигалась.

Котята не понимали слов, но понимали голос. Когда мальчик говорил спокойно, голос шёл ровно и в конце фразы опускался вниз, и это было похоже на мурлыканье. Когда он говорил

про отца, голос становился другим — короче, выше, с паузами; на эти паузы мать поднимала ухо.

Она не знала, что такое отец; она знала, что такая пауза бывает у людей, которым больно, и что в такие минуты лучше сидеть рядом и не уходить. Она и сидела.

Мальчик уходил, и дверь наверху закрывалась; мать возвращалась к ним, ложилась, и от неё пахло асфальтом и немного шоколадом. Этот запах стал означать то же, что мурлыканье.

Ночью, когда все уходили, подвал начинал звучать иначе: котёл остывал и щёлкал — не так, как днём, а медленно, с долгими промежутками, будто внутри него что-то оседало; труба переставала гудеть, и в наступившей тишине становилось слышно, как в стене идёт вода.

Серая в первую такую ночь не спала: она лежала и слушала тишину, и тишина была не пустая, а полная — в ней шевелилось, капало и дышало. Ей стало страшно, и она запищала — тонко, как пищат все, кто зовёт.

Мать не встала: она дотянулась до неё головой, коротко, не открывая глаз, и лизнула её в макушку, и снова затихла.

И этого хватило: Серая поняла, что тишина — это тоже фон, он ничего не значит, и можно спать.

Слух говорил о том, чего не видно; поэтому ему верили больше, чем глазам.

3. Вибриссы

«Стена, найденная усами, крепче той, что видна.»

Усы у них выросли раньше, чем открылись глаза, — тонкие, короткие, белые; к четвёртой неделе они стали длинными и жёсткими и торчали в стороны, как у матери, и к этому времени котята уже понимали, где стена, не касаясь её.

Усы были не украшением: они были длиннее морды, и на конце каждого сидело что-то, что чувствовало движение воздуха. Когда котёнок шёл, воздух расходился перед ним, натыкался на стену и возвращался, и усы говорили: близко, стой.

Днём это было почти не нужно — глаза справлялись сами; ночью и в темноте это было всё.

Мать ходила по подвалу, не глядя под лапы, и знала, где коробка, где ведро, где на полу лужа, — не потому, что помнила, а потому, что чувствовала каждой щетинкой. Котята смотрели на неё и не понимали, как она это делает, а потом начали понимать: у них тоже было это, только слабое, и оно росло с каждым днём, как росли они сами.

Полосатый котёнок лежал у края ниши и смотрел в коридор, а в коридоре было темно. Он вытянул голову и почувствовал, как оттуда тянет воздухом: воздух был холоднее того, что был вокруг, шёл низко, по полу, и в нём был запах мокрого бетона. Котёнок не знал, что это сквозняк; он знал только, что там, откуда тянет, — другая комната.

Он встал, сделал шаг, потом второй; пол под лапами был шершавый и холодный. Он остановился. Усы были расставлены широко, и он чувствовал ими воздух: справа воздух двигался быстрее, слева медленнее. Справа был проход. Он пошёл направо и упёрся носом в коробку.

Мать подошла сзади, взяла его за шею и унесла. Он пробыл вне ниши меньше минуты.

Коридор был длинный, в две стороны, и в нём было темно, как бывает темно в подвалах, где нет окон. Слева стояли старые шкафы, и от них пахло краской и мышами; справа была стена, а вдоль стены — вёдра, свёрнутые половики и велосипед, которого никто не трогал много лет. Посреди коридора лежал коврик, и на коврике стояла жестяная банка с окурками; дальше был поворот, а за поворотом — лестница.

Всё это он узнал потом, шаг за шагом, а тогда лежал у края ниши, видел только темноту и чувствовал, что оттуда тянет.

Мать не запретила ему выходить; она запретила ему уходить далеко — это было разное, и он понял это только через неделю.

На следующий день он вышел снова, и на этот раз шёл медленно, потому что уже научился: сначала усы, потом голова, потом лапы. Усы говорили, где стена; голова говорила, где верх; лапы говорили, где скользко. Он дошёл до середины коридора и сел.

Здесь пахло сильнее всего: углём, мышами, мокрым, чужим человеком. Он сидел и втягивал воздух, и усы у него двигались вперёд-назад, будто он читал по ним, как по строчкам. Потом он услышал, как сзади идёт мать, и вернулся.

Она не ругала его; она шла рядом.

С этого дня она стала водить их по подвалу. Шла впереди, а они за ней, и останавливались, когда останавливалась она. Она показывала им подвал так, как показывают дом: вот угол, где сухо; вот место, где капает с трубы; вот лаз, куда можно пролезть; вот ступеньки, по которым нельзя.

Угол, где сухо, был за шкафом: там лежала газета, пожелтевшая и хрупкая, и на газете было тепло от стены. Место, где капает, было у трубы: там всегда стояла лужа, и в луже плавала ржавая вода. Лаз был под дверью — узкая щель, в которую проходил воздух, но не проходила кошка.

Ступеньки были главным.

Она подводила их к каждому месту и садилась. Это было важнее слов: она садилась, и они садились, и в этом была вся наука. Если мать садилась и не уходила, значит, здесь можно; если вставала и шла дальше, значит, нельзя.

Они выучили подвал за неделю и знали его не глазами, а лапами: где пол шершавый, где гладкий, где скользко, где под лапой что-то хрустит.

Мать поднималась по ступенькам до половины и садилась; котята подходили к нижней и смотрели вверх. Там был свет — не такой, как у котла. У котла он был живой и дрожал, а этот был ровный, серый, и от него тянуло холодом и ещё чем-то, чего в подвале не было.

Однажды сестра полезла выше матери. Мать догнала её, взяла за шею и сняла; сестра пищала, а мать не отпускала, пока не спустилась вниз, и только там разжала зубы и лизнула её — коротко, в макушку. Сестра села и стала вылизывать лапу, будто ничего не случилось.

Она всегда ходила дальше всех, и это было странно: она была меньше братьев, ела медленнее, уставала быстрее — и всё равно лезла туда, куда другие не лезли. Мать следила за ней больше, чем за остальными, и всё равно не успевала.

Однажды сестра пошла по коврику, поскользнулась на мокром полу и упала на бок. Она не заплакала: встала, отряхнулась и пошла дальше. Мать подошла, обнюхала её и лизнула — коротко, в макушку, — и сестра села. Они сидели рядом, и обе смотрели в темноту коридора.

К концу четвёртой недели котята знали подвал на двадцать шагов вокруг ниши: где тёплая труба, где холодный пол, где лежат коробки, где пахнет крысами. Они знали это усами и лапами, а не глазами; глаза всё ещё показывали пятна, а в темноте не показывали ничего.

У подвала была своя карта, и она была не про то, что видно, а про то, чего нельзя касаться. Лужа — нельзя: холодно и мокро. Поленница — можно, но осторожно: там живут мыши, и оттуда можно упасть. Труба — можно, но только если не касаться голым боком: она горячая. Дверь — можно, но только смотреть, а не выходить.

Серая выучила эту карту быстрее братьев. Она вообще училась быстрее — просто с ней это было незаметно, потому что она ничего не показывала: сидела, смотрела, запоминала. Подолгу сидела она у лаза под дверью: оттуда тянуло двором — асфальтом, снегом, дымом, чем-то живым, что ходило там, наверху. Она садилась так, чтобы усы попадали в струю воздуха, и сидела, и усы у неё медленно двигались.

Мать не мешала ей; иногда она сама подходила, садилась рядом, и они слушали двор вдвоём — одна большая, другая маленькая, обе с усами в струе воздуха.

Однажды в подвале погас свет. Лампа на проводе мигнула и погасла, и стало совсем темно — так темно, как бывает только под землёй, где нет окон.

Котята замерли; сестра запищала. Мать не издала ни звука: она прошла между ними, и они почувствовали, как она движется, — по воздуху, по шагам, по теплу. Потом она легла, и они нашли её.

Никто из них не видел её в темноте, и все трое знали, где она. Они ползли к ней, и каждый тыкался носом в её шерсть и успокаивался, потом ложился и слушал, как она дышит.

Свет вернулся через час: Толик ругался наверху и стучал по щитку, и от его стука в проводе что-то щёлкало. Этот час они лежали неподвижно. Сестра прижималась к материному боку и дрожала — мелко, часто, — и мать лизала её, не переставая. Полосатый лежал с открытыми глазами и слушал. Рыжий спал.

Потом свет вернулся, и оказалось, что всё это время они видели: глаза привыкли, и в темноте проступили серые пятна — угол коробки, труба, край ниши. Темнота была не пустой: в ней было всё то же, что и при свете, только тише.

К этому времени котята уже спали. В темноте они спали лучше.

К пятой неделе у них начали чесаться дёсны. Они грызли всё: край коробки, угол валенка, палец матери, если он оказывался близко. Мать отнимала палец и уходила. В нише появился новый запах — кисловатый, тёплый, — он шёл у них изо рта.

Зубы резались. Они не понимали, что с ними происходит, и вели себя так, как ведут себя все, кому больно и кто не знает почему: грызли, чтобы стало легче.

Мать приносила им старую тряпку, и они грызли тряпку. Тряпка была мягкая и не помогала, но пахла матерью, и от этого становилось легче.

Однажды сестра добралась до материного хвоста: хвост лежал на полу, длинный и спокойный, и она вцепилась в него зубами. Мать не зашипела — она подняла голову, посмотрела на неё и медленно, очень медленно убрала хвост. Сестра пошла за ним. Мать убрала его снова. Так повторялось три раза, и на четвёртый мать встала и ушла на другую сторону ниши. Сестра села и посмотрела ей вслед, потом вернулась к тряпке.

Так они и жили в те дни: грызли, спали, ели и ходили за матерью по подвалу, как ходят за проводником, который знает дорогу и не объясняет её.

Мир, который можно найти с закрытыми глазами, уже не чужой.

4. Зубы

«Молоко — это долг. Зубы — это расплата.»

Первая твёрдая еда пришла в подвал в конце марта: Толик принёс газету, свёрнутую кулём, и вывалил её в миску у котла. В газете была рыба — мелкая, вяленая, с головой и хвостом.

Весна была видна не глазами, а по котлу. Он уже не гудел так, как в феврале: огонь горел ровнее, Толик подкладывал уголь реже, и к вечеру железо остывало быстрее. В подвал стало приходить больше воздуха — того, что с улицы, — и в этом воздухе было что-то новое, чего зимой не было: земля.

Котята чуяли это раньше людей, мать — раньше их. Она подходила к лазу под дверью и стояла там подолгу, втягивая воздух, и хвост у неё ходил медленно, из стороны в сторону.

Мать подошла к миске первой: взяла рыбу и унесла в нишу. Котята обнюхали её и не стали есть.

Тогда мать сделала другое: легла рядом, взяла рыбу в зубы и начала рвать её на куски. Куски она не съела, а оставила перед ними, и запах рыбы заполнил нишу быстро, как заполняет водой яму.

Рыжий чихнул. Полосатый отступил на шаг и снова подошёл. Сестра не подошла вовсе — она сидела в стороне и смотрела, и нос у неё морщился.

Мать ждала. Она лежала рядом с кусками и не ела, и это было важнее всего, что она делала: если мать не ест, значит, сначала должны есть они.

Полосатый котёнок взял кусок в рот и подержал: он не знал, что с ним делать. Мать подтолкнула его носом. Он пожевал — край куска был твёрдый, а середина мягкая, — жевал долго, и половина вываливалась, а потом проглотил.

Сестра не смогла: она брала кусок и выплёвывала, и пищала, и снова брала. У неё не хватало сил. Мать села рядом с ней и стала рвать рыбу мельче.

К вечеру сестра тоже ела.

С этого дня им давали твёрдое каждый день. Не всегда рыбу: иногда кашу с мясом, иногда хлеб, размоченный в молоке, иногда куриные кости, которые приносил мальчик.

Кости они не умели.

Мать умела: она брала кость и грызла её сбоку, короткими движениями, и через минуту кость ломалась. Однажды рыжий попробовал сам — взял кость и стал грызть её не сбоку, а с конца, и кость не поддавалась, и он грыз громче и быстрее, а потом подавился, закашлялся и выронил её. Мать подошла, села рядом и дождалась, пока он прокашляется, потом взяла ту же самую кость, повернула её так, чтобы край был сбоку, и стала грызть медленно, чтобы он видел.

Он смотрел. Через неделю он грыз кости сам.

Котята смотрели и учились — не потому, что понимали, а потому, что смотрели. Мать не объясняла: она просто делала, и они делали то же, что она, и сначала у них не получалось, а потом получалось.

Однажды Зоя Ивановна принесла в подвал кастрюльку. Она поставила её у двери, сняла крышку и отошла. В кастрюльке была каша с мясом — тёплая, разваренная, с запахом, от которого котята забыли, что они осторожные.

Мать подошла первой и попробовала, потом отступила и села.

Котята ели из кастрюльки, толкаясь, и каша была горячая, и они отскакивали и возвращались, и ели снова. Зоя Ивановна стояла на ступеньках и смотрела.

— Едят, — сказала она.

И пошла наверх, и вернулась через минуту с тряпкой, чтобы вытереть пол. Она вытирала пол и ворчала, что развели грязь, и котята разбегались от тряпки, и это было похоже на игру. Мать сидела в стороне и смотрела; она не мешала ни есть, ни разбегаться.

К пятой неделе у них прорезались все молочные зубы. Они были острые и тонкие, как иголки, и когда котята кусали друг друга в игре, оставались царапины.

Мать кусала иначе: брала за шею, но не сжимала до крови. Однажды она взяла сестру слишком сильно, и та запищала, и мать сразу отпустила и лизнула это место.

К концу марта в подвале стало теплее; труба уже не гудела так громко, и уголь в котле горел ровнее.

Толик стал приходить реже. Раньше он был частью подвала, как труба или котёл; теперь он приходил, делал своё и уходил, и в подвале оставался его запах — табак, масло, уголь, — и этот запах выветривался всё быстрее.

У него была кошка. Давно. Она приходила к котлу каждую зиму, садилась на ящик и смотрела, как он работает; летом она уходила во двор и возвращалась осенью, и так было лет восемь. Потом она не вернулась.

Толик не искал её и не говорил о ней; но с тех пор он ставил миску у ворот гаража — каждый день, зимой и летом, — и никто во дворе не знал, зачем. Котята не знали про ту кошку и не могли знать; они знали только, что от миски у ворот гаража иногда пахнет едой, что этот человек не кричит и не машет руками и что от его куртки пахнет так же, как от коробки.

Однажды он пришёл днём, сел на ящик и закурил. Котята играли у ниши: брат ловил сестру за хвост, сестра отбивалась, полосатый сидел и смотрел. Толик смотрел на них.

— Трое, — сказал он. — Куда вас.

Он докурил, бросил окурок в жестянку и ушёл.

Через день он принёс коробку. Поставил её в углу, недалеко от котла, и положил внутрь старую куртку; куртка пахла табаком и ещё чем-то давним, чего в подвале не было. Мать обнюхала коробку, залезла внутрь, потопталась и легла, а к вечеру перенесла туда котят.

Новое место было выше и суше, и в нём пахло человеком: табаком и потом. Котята спали в коробке, а мать — рядом, на полу. Ночью ей было холодно, но она не залезала к ним: в коробке было тесно. Она лежала у коробки, свернувшись, и во сне у неё дёргались лапы.

Первые ночи в коробке котята не спали: место было новое, высокое, и в нём пахло человеком, и этот запах был сильнее, чем всё остальное.

Рыжий вылез первым и пошёл искать мать. Он дошёл до края коробки, посмотрел вниз, не решился и сел. Потом сел рядом с ним полосатый. Потом серая. Они сидели втроём у края и смотрели вниз, где на полу лежала мать.

Мать подняла голову и не поднялась к ним: она ждала.

И тогда серая сделала то, чего не сделали братья: она сползла вниз — неуклюже, боком, цепляясь когтями за картон, — и оказалась на полу. Мать лизнула её. Рыжий и полосатый сползли следом.

К утру все четверо спали на полу, а коробка стояла пустая. Потом они всё-таки в неё вернулись — когда стало холодно.

К началу апреля они уже ели всё, что давали, и просили ещё. Молоко у матери почти кончилось, и котята сосали реже — больше по привычке; когда они подходили, она вставала и уходила.

Они не понимали. Она возвращалась через минуту и ложилась рядом, но не давала сосать: она держала их на расстоянии.

Мальчик заметил это первым. Он сидел на корточках у двери и смотрел, как сестра ходит за матерью по кругу.

— Она не даёт им, — сказал он.

— Пора, — сказала Зоя Ивановна.

Она стояла наверху, на ступеньках, и держала сумку обеими руками.

— Что пора?

— Всё пора, — сказала она. — Они уже не маленькие.

Мальчик не понял: он ещё думал, что забота — это когда дают.

Вечером он принёс блюдце с молоком и поставил его в нишу. Мать посмотрела на блюдце и не подошла; котята подошли. Они пили из блюдца, и это было не то же самое, что пить из матери, но тоже молоко, и они пили, и толкались, и сестра пила последней. Мать сидела в стороне и смотрела.

В первый раз это было обидно. Сестра ходила за ней по подвалу и тыкалась носом в живот, и мать отступала, и сестра шла за ней, и так они ходили по кругу, пока сестра не садилась и не начинала плакать.

Мать не подходила.

Круг становился всё меньше, и в конце сестра просто села посреди подвала и заплакала. Мать стояла в двух шагах. Она смотрела на неё и не двигалась, и в этой неподвижности было больше, чем в любом шипении: так стоят, когда очень хотят подойти и знают, что нельзя.

Потом сестра встала и пошла к миске. Она ела, всхлипывая, и это было некрасиво, и никто её не утешал.

В ту ночь она впервые спала не у материного живота, а в стороне — у стенки коробки. Мать легла так, чтобы между ними было расстояние в ладонь: ни больше, ни меньше.

К концу недели они перестали просить. Еду теперь давали в миске, и они ели из миски, толкаясь и отпихивая друг друга.

Мать ела последней: стояла в стороне и ждала, пока они наедятся, потом подходила, доедала то, что осталось, и облизывала миску — тщательно, по краю, будто мыла посуду. Иногда она облизывала и котят — по одному, в том же порядке: рыжего, полосатого, серую. Порядок не менялся никогда.

Мать отнимала молоко так же, как давала: молча.

5. Игра

«Всё, что кошка делает всерьёз, она сначала делает в игре.»

Играть они начали раньше, чем перестали сосать.

Сначала это была возня в коробке: один кусал другого за ухо, второй переворачивался и бил задними лапами. Правила были простые — за ухо можно, за хвост можно, в глаз нельзя, — и в глаз они не попадали, потому что глаз закрывался. Правил им никто не объяснял; их чувствовали.

Когда рыжий кусал слишком сильно, полосатый взвизгивал и отходил, и игра останавливалась сама, без всякого запрета. Через минуту они сходились снова, и рыжий кусал слабее.

Так они учились мере — а мера была не в силе, а в том, чтобы другой остался.

Мать следила за ними краем глаза и не вмешивалась, пока визг был игровой. Когда визг становился другим — длиннее, злее, — она поднимала голову, и этого хватало: они расходились. Потом кто-нибудь из них не выдерживал и бросался первым.

К пятой неделе игра стала охотой.

Брат прятался за коробкой и ждал; сестра шла мимо, и он бросался ей на спину, и они катались по полу, и пыль поднималась столбом. Полосатый не участвовал: он сидел у края и смотрел. Потом стал участвовать.

Первая его атака была неудачной: он прыгнул, но не рассчитал и врезался в коробку. Брат отскочил. Полосатый сел и стал вылизывать лапу, будто ничего не случилось. Прыгать он научился через два дня.

Однажды в игру вошла мать. Она лежала у ниши, и хвост у неё свисал с края коробки и двигался. Полосатый увидел хвост и замер. Хвост двинулся снова — медленно, лениво, — и полосатый прыгнул.

Мать убрала хвост за полсекунды до того, как он до него добрался. Он упал на пустое место. Мать посмотрела на него и опустила хвост снова. Он прыгнул ещё раз — и снова промахнулся.

На третий раз он не прыгнул: лёг, прижал уши и стал ждать. Хвост двигался — он ждал. Хвост замер — он ждал. Потом он прыгнул и попал.

Мать не отняла хвост. Она дала ему подержать его секунду, а потом встала и ушла.

Это был первый урок охоты, и он был не про прыжок. Он был про ожидание.

Сестра играла мало: уставала раньше всех и часто уходила в угол, ложилась там, свернувшись, и смотрела, как они возятся.

Со временем игр стало больше. Они играли с пылью, которая висела в луче света от лампы. Играли с жуком, который заполз в подвал по трубе: жук был тёмный, блестящий и глупый, полз по полу, а они трогали его лапами, и он переворачивался на спину и дрыгал ногами. Потом жук уполз, и они сидели вокруг того места, где он был, и ждали. Играли с верёвкой, которую принёс мальчик: верёвка двигалась, её можно было ловить, и она никогда не уставала. Играли с тенью от собственных хвостов.

Серая предпочитала игру, в которой надо было ждать. Она ложилась у края коробки, подбирала лапы и смотрела на щель между ящиками. Полосатый проходил мимо — она не двигалась; проходил ещё раз — не двигалась; на третий раз он остановился и посмотрел на неё, и она прыгнула.

Она попала ему на спину, и они покатились, и пыль поднялась столбом, и мать подняла голову и снова опустила.

Серая не была сильнее. Она была терпеливее.

Мать подходила к ней чаще, чем к другим: садилась рядом и ждала, пока сестра сама прижмётся. Сестра прижималась не сразу — сначала смотрела на неё долго, внимательно, будто

проверяла, и только потом тыкалась носом в шерсть. Мать вылизывала её — долго, всю, от головы до хвоста, — и сестра засыпала.

Однажды ночью сестра не проснулась вместе с ними. Она лежала в углу и дышала быстро и мелко, и нос у неё был горячий и сухой. Мать легла рядом и стала лизать её — всю ночь, не останавливаясь. Котята просыпались, смотрели на них и снова засыпали.

К утру сестра встала. Она была худая, но живая.

После этого мать стала следить за ней иначе. Она не держала её у живота и не носила за шею — сестра была уже большая; она просто всегда оказывалась рядом: когда сестра ела, когда спала, когда уходила в угол. И ложилась так, чтобы между сестрой и выходом была она.

Сестра не замечала этого. Она вообще ничего не замечала в те дни: ела, спала и оглядывалась. Оглядывалась теперь всегда, даже когда в подвале никого не было.

Братья играли, и игра стала для них привычкой, а для неё — нет. Она больше не прыгала на спины: сидела и смотрела.

Мальчик, глядя на неё, сказал однажды:

— Она как будто ждёт чего-то.

Мать в это время лежала рядом с сестрой и не спала.

После этого сестра стала есть медленнее остальных и всё время оглядывалась. Мальчик заметил это раньше, чем мать: пришёл в подвал с фонариком, посветил в угол и долго смотрел, как она ест.

— Она худая, — сказал он.

Мать сидела рядом и молчала.

— Её надо к врачу, — сказал мальчик.

Он сказал это громко и некому — в подвале, где были только кошки.

Потом он ушёл и вернулся с Зоей Ивановной. Она спустилась на две ступеньки, посмотрела и сказала:

— Не трогай.

— Но она...

— Не трогай, — повторила Зоя Ивановна. — Она сама. Они сами умеют.

Она постояла ещё немного и добавила тише:

— Если тронуть — бросит.

Мальчик не понял, кого бросит. Он сел на ступеньку и просидел там, наверное, час, и смотрел, как сестра ест. Мать сидела рядом с ней.

С этого дня мальчик стал приносить еду не в миску, а на бумажке и класть её в угол, отдельно. Мать не мешала. Мать и сама стала приносить ей еду отдельно: брала кусок и клала перед ней, в стороне от миски.

Сестра ела и оглядывалась; она ела медленно, кусок за куском, и между кусками поднимала голову и слушала коридор, будто ждала, что оттуда кто-нибудь придёт.

Двор узнал об этом, когда погибла половина помёта на соседней улице. Об этом рассказала Рая: пришла утром с метлой, остановилась у баков и сказала Зое Ивановне:

— У Райки в подвале все котята. Пять штук. Вчера были, сегодня нет.

— Что, потравили? — спросила Зоя Ивановна.

— Не знаю. Лежат.

Зоя Ивановна ничего не сказала. Она высыпала в миску то, что принесла, и пошла домой.

Днём во дворе говорили об этом ещё два раза. У гаражей стояли двое мужчин, и один сказал:

— Кто-то травит.

— Кто? — спросил второй.

— А кто их любит.

Второй засмеялся и сказал, что собак тоже надо травить, и они заговорили о другом.

Зоя Ивановна в это время поднялась на второй этаж и постучала в дверь Толика. Она стояла на площадке и говорила через дверь:

— Толик, закрой подвал.

Он что-то ответил — коротко, недовольно.

— Закрой, — сказала она. — Там котята.

Дверь открылась. Они поговорили ещё минуту, и Толик сказал, что дверь и так на замке, и что кошки ходят через лаз, и лаз он не заделает, потому что там труба.

— Тогда оставь как есть, — сказала Зоя Ивановна.

— А я что делаю, — сказал Толик и закрыл дверь.

Замок на двери котельной был старый, и ключ от него был только у Толика. Но лаз под трубой оставался открытым, и через него в подвал шёл воздух, и в этом воздухе в те дни было что-то, чего котята не знали.

Мать в тот день не вышла из подвала. Она лежала у коробки и слушала.

К ночи она вышла, прошла через двор и вернулась через час. От неё пахло чужим подвалом. Она уходила через лаз, вдоль стены, за гаражи, — туда, где начиналась соседняя улица, — дошла до их двора и остановилась у открытого подвала.

Там было тихо.

Она не пошла внутрь. Постояла у входа, втянула воздух и услышала то, что слышат в таких местах: ничего. Ни писка, ни шороха, ни движения. Только запах — сладкий, тяжёлый, — от которого шерсть на спине поднималась сама.

Она стояла там, наверное, минуту. Потом повернулась и пошла домой.

Она легла к котятам и не спала до утра.

Котята не знали, что случилось. Они знали только, что мать вернулась другая: от неё пахло не улицей, а бедой, и она лежала ближе обычного. Они прижались к ней и уснули, и она не ушла.

Утром она встала первой. Подошла к миске, постояла, посмотрела на пустую жесть и пошла к лестнице. На середине ступенек остановилась, обернулась и посмотрела вниз — туда, где в нише спали трое. Потом пошла дальше.

Котята проснулись оттого, что стало холодно. Они вылезли из коробки и пошли искать её — по коридору, к ступенькам, — и остановились у нижней, потому что дальше было нельзя. Они стояли и смотрели наверх, где был свет.

Игра была не отдыхом от охоты.

Игра и была охотой — только без голода.

6. Двор

«Мир открывается тому, кто вышел. Дом остаётся тому, кто вернулся.»

В середине апреля снег сошёл. В подвале этого не было видно, но воздух стал другим: он шёл из-под двери тёплый и пах землёй, Толик перестал топить каждый день, и в нише по утрам стало прохладно.

Однажды утром он поднялся по лестнице и не закрыл за собой дверь. Дверь осталась приоткрытой — на ладонь, не больше.

Такого не было никогда. Дверь в котельную открывалась только тогда, когда Толик входил или выходил, и всегда закрывалась за ним с тем же стуком, который котята знали с рождения. Теперь она стояла приоткрытой, и в щель шёл свет — серый, дневной, — и вместе с ним шёл воздух.

Воздух был тёплый и пах так, что у котят поднималась шерсть на спине: землёй, водой, чем-то сладким, чем-то гнилым, чужими следами.

Это был двор. Они не знали этого слова; они знали, что там, за дверью, есть что-то большое.

Мать встала и пошла к лестнице, и котята пошли за ней. Они поднимались медленно, как учились ходить: сначала усы, потом голова, потом лапы. Ступеньки были холодные и шершавые, и на каждой было по-своему пахнуще: на первой — углём, на второй — мокрым бетоном, на третьей — чем-то новым, от чего шерсть на спине поднималась сама.

Мать села у самого верха и посмотрела наружу. Котята сели на ступеньку ниже и тоже посмотрели. Свет был не такой, как в подвале: он был большой и белый, и от него болели глаза.

Мать вышла. Они остались. Она вернулась через несколько шагов, посмотрела на них и коротко позвала — тем самым коротким звуком, который означал «сюда».

Полосатый котёнок вышел первым и прижался к земле, потому что земля оказалась не такой, как пол. Она была неровная, тёплая местами и холодная местами, и пахла сразу всем.

Запахов было слишком много. Они шли со всех сторон и не складывались ни в мать, ни в еду, ни в опасность; они были просто запахами — асфальт, вода, мусор, прошлогодний лист, чья-то обувь, чья-то еда, дым. Он стоял и не двигался, и усы у него дрожали.

Двор лежал перед ним, и в нём было слишком много всего сразу. Слева стояли гаражи — длинный ряд железных дверей, выкрашенных в разный цвет, и у каждых двери был свой запах. Справа был дом: пять этажей, подъезды, крыльцо с тремя ступеньками, клумба, в которой ещё ничего не выросло. Посреди двора лежал асфальт, мокрый после ночного дождя, и в нём отражалось небо — серое, высокое. У дальнего забора стояла будка, и в будке жила собака.

Котята ещё не знали, что это будка и что это собака. Они знали, что оттуда идёт запах, от которого хочется уйти.

Потом вышел рыжий. Он вышел смелее, сделал два шага и наступил в лужу. Вода была холодная: он подпрыгнул, отскочил и встряхнул лапой. Мать села и стала вылизывать лапу — будто показывала, что делать. Он сел и тоже стал вылизывать лапу.

Сестра вышла последней. Она вышла и сразу легла, прижавшись к стене, и от стены не отходила. Мать подошла к ней и лизнула её в макушку.

Двор был большой. Он был втрое больше подвала, и в нём было небо — они увидели его не сразу, потому что смотрели под лапы, а потом полосатый поднял голову и замер.

Небо было высокое. Оно двигалось.

Он смотрел на него долго, задрав морду, и не мог понять, что это и почему оно не падает. Небо было самым странным из всего, что он видел: оно не пахло, не имело края, в него нельзя было ткнуться носом и понять, что там. Оно просто было — большое, светлое и пустое.

Полосатый просидел так, наверное, минуту, и за это время по небу прошло облако, и тень от него легла на двор, и котята вздрогнули.

Тень двигалась. Она ползла по асфальту, по стене, по их спинам — и ушла.

Мать не подняла головы. Она знала, что это облако; она знала это двенадцать лет и не считала нужным объяснять. Полосатый ещё раз посмотрел вверх и отвернулся.

Небо было не для него: у него не было ни запаха, ни края, и с ним нельзя было ничего сделать.

Потом над двором пролетел голубь. Он пролетел низко, тяжело, с шумом, и все трое котят прижались к земле, а мать присела и подалась вперёд всем телом, и глаза у неё стали узкие и чёрные. Голубь сел на гараж и пошёл по крыше, кивая головой.

Мать смотрела на него. Котята смотрели на мать.

Они не знали, что делать с голубем; они знали только, что мать стала другой, и эта другая мать была им понятна так же, как прежняя: она чего-то хотела.

Голубь улетел. Мать села и облизнулась.

За забором залаяла собака. Она залаяла тяжело, с хрипом, и в этом лае была не злость, а скука: так лают собаки, которые сидят на цепи весь день и лают на всё, что движется.

Котята прижались к земле. Мать не прижалась: она повернула голову к забору и прислушалась. Собака замолчала. Мать подождала и пошла дальше — вдоль стены, к бакам.

Котята пошли за ней, и серая оглянулась на забор ещё раз. За забором ничего не было видно: только доски и небо. Но она запомнила: там, за досками, есть кто-то большой, и он лает, и мать на него не реагирует так, как на кота. Значит, это не опасность. Значит, это просто шум.

Во дворе хлопнула дверь подъезда. Котята бросились к стене, все трое, и сбились в один комок.

Мать не двинулась.

Из подъезда вышла Зоя Ивановна с сумкой. Она дошла до баков, поставила сумку на землю и только потом увидела их.

— Ох, — сказала она.

Она стояла и смотрела.

— Выросла, — сказала она матери. — И трое. Трое, — повторила она и посмотрела на котят.

Котята смотрели на неё из-под стены. Зоя Ивановна говорила с ними, как говорят с людьми, которые всё понимают, но не отвечают.

— Вон ты какой, — сказала она полосатому. — В отца, что ли.

Отца котята не знали: он был откуда-то из-за гаражей, и в этот двор его не пускали.

— Ничего, — сказала Зоя Ивановна. — Вырастете — разбежитесь. Все разбегаются.

— Я вот не разбежалась, — сказала она неизвестно кому.

Котята не поняли.

Она постояла ещё немного, посмотрела на них — и полезла в сумку. Достала кусок курицы и положила его на кирпич, как всегда, и отошла на три шага.

Мать подошла и села у кирпича. Она не ела: она смотрела на котят.

Полосатый вышел первым — так же, как из двери. Он дошёл до кирпича, обнюхал курицу и взял её в зубы. Курица была больше его головы: он не смог её поднять и потащил по земле. Рыжий подошёл и вцепился в тот же кусок с другой стороны, и они тянули в разные стороны и рычали.

Сестра не подошла: она сидела у стены и смотрела.

Зоя Ивановна смотрела на них и молчала. Потом сказала:

— Ладно.

И пошла к бакам.

Мать ела первой. Она отняла курицу у обоих — просто взяла и унесла к стене, — и они не посмели возразить. Она ела, а они сидели рядом и ждали. Она оставила им половину.

Во второй половине дня во двор вышел мальчик. Он вышел с мячом и сначала не заметил их, а потом заметил и остановился.

— Ого, — сказал он.

Он не подошёл сразу: постоял, потом сел на корточки там, где стоял, и положил мяч на землю.

— Выходите, — сказал он.

Котята не вышли. Мать лежала у стены и смотрела на него.

Мальчик подтолкнул мяч ладонью. Мяч покатился — медленно, по неровному асфальту, — и остановился в двух шагах от котят. Рыжий смотрел на него. Мяч был круглый, красный и пах резиной.

Рыжий прижался к земле, повёл задом и прыгнул. Он промахнулся, но мяч откатился, и он бросился за ним, и мяч откатился снова, и он погнался.

Полосатый смотрел. Потом пошёл и тоже тронул мяч лапой.

Мальчик смеялся тихо, чтобы не спугнуть.

Наверху открылось окно, и женский голос позвал:

— Петя!

Мальчик поднял голову.

— Сейчас, — сказал он.

Он не ушёл сразу: ещё посидел, глядя на котят, и сказал им, как будто они понимали:

— Я завтра приду.

Потом взял мяч и побежал к подъезду, и на крыльце обернулся. Мать смотрела ему вслед. Она не мяукала ему вслед, как другим людям; она просто смотрела, пока он не скрылся за дверью.

Мать не мешала.

К вечеру стало холоднее, и мать встала. Она пошла к двери и на пороге остановилась. Котята шли за ней; рыжий шёл последним — он всё время оборачивался на мяч, который остался лежать посреди двора. Мать стояла у двери, пока все трое не вошли, потом вошла сама.

Дверь за ними закрылась.

Двор был больше подвала. К вечеру это перестало быть важным: важно было, что в подвал можно вернуться.

7. Отъём

«Мать учит не присутствием, а отсутствием: сначала на час, потом на день, потом навсегда.»

В мае молоко кончилось совсем. Оно ушло не сразу — сначала его стало меньше, потом оно стало горьким, потом мать просто перестала ложиться. Она приходила, садилась рядом с коробкой и смотрела, как они возятся, и в глазах у неё было что-то, чего котята ещё не умели читать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.